

## Михаил Осоргин Слепорождённый

Человек, которому предстояло увидеть свет, чувствовал себя беспомощным. Двое осторожно ввели его в комнату и уложили в постель. Он привык в минуты волнения ходить по комнате из угла в угол ровными считанными шагами, так что след попадал в прежний след; теперь ему этого не позволили.

На его глазах была повязка, в комнате были закрыты ставнями и завешены окна и потушен свет. Но если бы ему позволили ходить, пока не уляжется легкая боль после операции, он мог быстро нащупать стены, кровать, столик, умывальник, - и затем чувствовать себя, как дома. Света и темноты для него не существовало: он был слеп от рождения.

Боли, собственно, даже не было, а было совсем особое ощущение: он был опален, а привычная чистота и четкость его впечатлений спутаны. Он получил извне небывалый удар, заставивший его сильно дернуться и вскрикнуть. Секунду спустя была наложена повязка, но осталось ощущение, как будто он проглотил шар, который теперь перекатывался в теле. Профессор, тоже несколько взволнованный, сказал:

- Ничего, ничего, все хорошо! Вы будете видеть, только потерпите. Будем приучаться понемногу.

В соседней комнате разговаривали вполголоса, но слепой, лежа на спине, слышал все слова с полной отчетливостью, и как профессор сказал: "Зрачок реагирует", и как на слова "Это чудо!" - он ответил: "Чудеса могут делать Бог и шарлатаны, а это наука, голубчик мой". После этого "голубчик" вышел, а профессор топтался у окна и долго вытирал руки полотенцем, палец за пальцем. Слепой слышал малейший шорох и легко определял каждое движение профессора. Вот он сел на стул тут же у окна, вот после долгого вздоха совсем особенным тоном произнес "д-да-а", а вот постучал папиросой о крышку портсигара.

Одновременно слепой прислушивался и к молоточку, стучавшему в груди и отдававшемуся в голове. Шар, проникший в его тело, разбился на малые шарики, затем эти стали дробиться на мельчайшие. Он знал, что это первое действие света, хотя, что такое свет, он не знал. Больше всего его страшило повторение толчка, и он был рад хирургической повязке. Если это и значит "видеть", то видеть мучительно.

Что такое - видеть? Некая чудесная способность угадывать близость предметов, которых нельзя коснуться руками и которые не слышны. Зрячий говорит: "Вон там виден большой дом", или: "Вот идет такой-то". Большой дом - это долгий подъем по ступеням и поворотам, а под рукой убегают и надвигаются перила; чем дольше и утомительнее подъем, тем больше дом. Как можно считать эти ступени издали, не поднимаясь по ним и их не ощущая, даже не входя в дом? Или как можно знать, кто идет, еще не слыша ни шагов, ни голоса? Вот это и есть чудо, гораздо большее, чем телефон. Объясняют: пройдя через хрусталик, свет принимается и отражается сетчаткой... и так далее. Кроме того, зрячий может видеть самого себя в зеркале; зеркало холодная и гладкая поверхность, стекло; быть одновременно вне его и в нем чудо раздвоения. Прикосновение к стеклу не дает никаких особых ощущений холодно и твердо. Мир видящих волшебен и неправдоподобен.

Чудо видения толкуется множеством слов, и каждое из них и просто и непонятно; они должны приниматься на веру. И однако зрячий выбегает на улицу без палки и бросается в толпу, не натываясь на людей, не окликаая, пересекая улицу наперерез автомобилям, зная, где обойти препятствие и что встретиться дальше, хотя он здесь в первый раз. Видеть - изумительное знание неизвестного. Менее удивительна способность читать на газетном листе и в книге буквы, которых почти невозможно прощупать; их щупают издали глазами и буквы неслышно говорят и слагаются в слова.

Эти мысли не были новы для человека, которому предстояло увидеть свет. Но в последнее время, в связи с надеждами профессора, его верой в чудо и удивленными толками родных, он особенно много думал о своем будущем и старался догадаться, как изменится все, когда его глаза прозреют.

Мир никогда не был для него пустым и темным. Он с полной ясностью, но по-своему "видел". Его мир состоял из звуков, запахов и намеков на очертания. С детства он привык к тому, что предметы имели определенный цвет; почти безошибочно он отличал белую материю от черной на ощупь: белая холоднее. Выйдя в сад, он мог знать, что небо сегодня голубое - по особой ласковости и струящейся теплоте воздуха, по более веселому звуку голосов, быстро тающему. Солнце он знал и любил, ловил его лицом, перекатывал по коже. Воздух при солнце настаивался и густел. Зеленъ травы и для него имела множество оттенков: от мягчайшего до жесткого и колючего. Знал и рост травы, наблюдая его ощупью: сегодня больше, чем вчера; а вот это увядание. Дерево - твердый и шершавый цилиндр, не кончающийся на высоте поднятой руки. Выше на дереве должны быть расположены ветки, на ветках листья, и листья шумят, когда их колеблет ветром. И листья, и ветер были для него почти одинаково предметны, но ветер, который дотрагивался до тела, сам был неуловим - и в этом было его отличие от других предметов. Что над деревьями? Говорят, воздух, то, что ощущается, если в пустом пространстве проводить рукой; и то, что вдыхается. Все эти особые качества предметов образовывали в его представлении гораздо более сложную цепь понятий, чем у зрячего. Зрячий не видит воздуха, но видит небо, которого нет; слепому это понятно, потому что для него нет вещи, если ее нельзя коснуться, а между тем эта вещь есть или будет.

Он хорошо знал и любил цветы. Розой он называл запах розы, сиренью дух сирени, фиалкой ее аромат. Ощупывание цветка мало прибавляло к такому знанию и ничего не объясняло. Он оценивал цветы по-своему: гвоздика казалась ему ужасной, потому что одуряла ароматом; ужасна была и лилия; выше всего он ценил за тонкость аромата те цветы, про которые говорили, что они не пахнут. Подойдя к букету, не трогая его руками, он его "видел", потому что отчетливо знал, из каких цветов он составлен. Но и сидя за обеденным столом, он точно знал, какие перед ним блюда: его обоняние было развито так же исключительно, как и его слух, как и его осязание. Не отвлекаемый тем, что зовется зрением, он был всегда во власти множества тончайших ощущений, другим не доступных. Ничтожный и скучный для других хлебный шарик он чувствовал в круглой завершенной черте, в мягкости и способности сплюснуться, стать кружком, распасться, или же в его пряности, кислоте, хлебном духе, в малой слышности его падения на пол, в том, что он одновременно был и не был - стоит только отнять или приблизить руку.

Родные удивлялись, как он может сразу определять, что это - его чашка - из целого сервиза. Но на ручке была неприметная зрячим неровность, выдававшаяся крупинка фарфора, а край доньшка был шероховат знакомо и по-особому. Впрочем, он отличал ее от других и проще, - слегка ударив пальцем по краю, на что она откликнулась своим звучанием. В маленькой библиотеке сестры он знал и мог найти любую книгу, потому что раньше, перебирая их, спрашивал названия, и некоторые книги ему читали вслух. Один только раз ощутив предмет, он после угадывал его простым легким прикосновением, едва проведя пальцем по краю. И самый предмет он сберегал в своем представлении в виде легкого штриха, определяющей черточки; он по ним скользил памятью, как зрячие скользят глазами, - и -этого было достаточно. Черточки, запахи, звуки заполняли его мир и располагались знакомыми картинками на экране памяти: ком-наты, люди, сад; труднее - улица, то есть ряд шумов и препятствий, плоскость, заставленная редкими подъемами по крутящимся ступеням.

Значит, и он видел; но он мог видеть только знакомое и не видел ничего, не оставившего следа в его изумительной памяти; остальное он воображал. Так, уличная толпа представлялась ему последовательной и путаной записью локтей, одежд, неисследованных лиц, дыханий и слов. Все это располагалось рядом, сцепившимися черточками и в плоскости обычного экрана, потому что перспектива была ему недоступна. Он знал, но никогда не мог понять выражения: "Человек вдали кажется маленьким". Стараясь понять, он представлял себе кусок мяса, который он ест: кусок делается все меньше. Так отдаление, то есть отрыв от прямых ощущений, постепенно поглощает и человека. Впрочем, то же бывает со звуком и с

запахом, и это понятно, только осязание не имеет степеней приближения: то, чего нельзя еще раз коснуться, уходит из области очертаний в другие области, лишь оставляя след в памяти. Человек, ставший маленьким в отдалении, как бы растягивается и утончается, но все еще прикреплен к глазу зрячего, понять это иначе невозможно.

Основным миром его бытия был мир звуков - самый полный, ясный, прекрасный и мучительный.

Предмет мог ударить, пища обжечь и вызвать отвращение. Звук также мог оскорбить резкостью, но он же давал полноту жизненных впечатлений. Звуками его сутки делились, как у зрячих, на день и ночь. В звуках он воспринимал окружающее, не протягивая к нему руки и оставаясь неподвижным. Звуки отличали добро от зла - и его нравственные представления сливались с музыкальными. И звуки же, их бесконечные по разнообразию сочетания, уравнивали его со всеми зрячими, чего не делала даже так называемая полная темнота.

В этой полной темноте на его стороне были все преимущества перед зрячими; ничего не видя, они делались беспомощными и беззащитными, тогда как для него ничто не менялось: он "видел", как видел всегда и везде, его движения были в привычной обстановке уверенны и свободны. Они лишались своего единственного преимущества он сохранял все свои способности человека, необыкновенно изощрившего слух и осязание. Они даже в собственной квартире натыкались на предметы и не могли найти выходной двери; он и в малознакомом доме чувство-вал препятствие по особому упору воздуха при движении, иногда по едва уловимому, но все же отчетливому запаху лакированного дерева, бумаги, пыли. Но едва зажигался свет - роли менялись, и он становился, не всегда справедливо, существом низшим и достойным сожаления.

Иное было в мире звуков - его настоящем царстве. Здесь, равный зрячим, он безмерно возвышался над ними не на минуту и не случайно, а по нраву и почти недосыгаемо. Они слушали музыку - он ее не только слышал, но и видел, как они видеть не могли. Ухом тончайшим и развитым он ловил им не слышимое и облекал звуки в недосыгаемые для них образы. В аккорде он видел отдельно каждую ноту, и это не мешало ему также видеть их в гармонии. Каждый звук имел для него свои очертания и здесь он не дробил очертаний на куски, на признаки, на черточ-ки лишь стенографической записи: он брал их в целостности и позволял им сплетаться по воле, образуя причудливые рисунки. Один звук рождался круглым, как горошина, и катился по гладкой поверхности, другой имел форму монеты и падал плашмя, звеня и сразу замирая, третий хотел протянуться в бесконечность, но, остановленный пределами экрана, описывал дуги и окружности, пока не таял в самом центре, и еще иной выскакивал острой стрелкой и вонзался в мягкое, в нем исчезая. Были звуки, которые вырывались толпой и топтались в уголке экрана, а затем плыли, оставаясь приметными,- и тогда он плыл с ними до самого края, за которым их терял с болью и сожалением. Но ему ничего не стоило спутать их, легонько ударив пальцами по ручке кресла, в котором он сидел: на экране появлялись пятнышки, и вокруг них начинался хоровод испуганных звуков.

Он отлично знал, как звуки рождаются в рояле; черточки теплой руки цеплялись за углы холодных пластинок чудодейственного свойства, которые внутри инструмента соединялись с тугими струнами резким ударом молоточка. Всю эту работу он отчетливо слышал и воспринимал. Особо дрожала каждая струна, особо гудел ящик рояля, от которого расходились волны, щекоча и возбуждая ухо; он слышал также и отражение звуков предметами, находившимися в комнате: жестким мячиком они отскакивали, от стен, раскалывались об угол стола, напрасно проваливались в мягкую обивку дивана. Он очень страдал, когда эти ненужные предметы портили мелодию,- другие ничего не замечали. Экран, на котором звуки отражались, делился на лучшие и худшие участки, как делит поля добрый сельский хозяин. На худших полях прорастал сор недостаточно настроенной струны, нечистого удара по клавишам, равнодушного оттенка или большой ноты, вызванной тем, что под ножку рояля попал конец ковра. Это было мучительно, и он старался не посещать заросших бурьяном музыкальных полей, обходить их стороной, забывая о них.

И было еще одно. В мире других восприятий он не знал ничего, не запечатленного его памятью, раньше не бывшего и незнакомого. Только в области звуков его мир слепорожденного мог наполняться неизвестным и неизведанным, совсем новыми сочетаниями и наполняться до краев, до сладкого и мучительного изобилия, иногда до болезненного чувства пресыщения. Перед ним, никогда не знавшим семи цветов радуги зрячих, вырастала могучая, тысячецветная радуга звуков, каскад неповторимых ощущений, - как неповторимы условия, в которых они сегодня рождались, а завтра в тех же родиться уже не могут.

Слушая музыку, простой напев или сложнейшую симфонию, он иногда, боясь пресыщения, медленно поворачивал голову - и тогда вся не объяснимая словами картина так же медленно поворачивалась в противоположную сторону: и вот он уже видел движение. Обеими ладонями он прикрывал уши, как это любят делать дети, и по своей воле приближал или отдалял звуки, стараясь понять, что такое перспектива, которой никто не мог ему объяснить. Затем он раздувал ноздри и нюхал, и порой ему казалось, что у каждого звука свой особый запах, тупой, пряный, домашний, летучий, как дым, или неотвязный, или неистребимый. В ином сочетании звуков он улавливал то же ощущение, какое испытывал, выйдя в сад в солнечный день; значит, это и есть "голубое небо", "зеленая трава" или "красное знамя". И еще иногда рождалась высота - то, до чего не дотянешься руками и что видят видящие; он теперь знал, что это путь от простого осязания в бесконечность, от памяти в неведомое.

Когда музыка прекращалась, часто чьи-нибудь слова низвергали его с этих высот в обычный и внецветный мир силуэтов. Кто-нибудь говорил: "Прелестно", или: "Мне это меньше нравится", - и он холодел при мысли, что можно пытаться выразить словами только что пережитое. Откуда взять слова? Какими их сочетаниями изобразить все, что накатило, пронеслось и отхлынуло? Он вставал, бледный, и, забыв дорогу, выставив вперед обе руки, искал выхода. И выйдя, ясно слышал, как там шепотом говорят. "Бедный, на него так сильно действует музыка!" Бедный? И это нищие говорят про миллиардера! Уйдя к себе, он рыдал, потрясенный неизмеримым величием и богатствами своих владений.

\* \* \*

Профессор навещал его ежедневно и взял с него слово, что он будет лежать на спине, приподымаясь и вставая как можно реже. И тогда можно будет скоро произвести первый опыт.

Будьте спокойны, повязки не трогайте и не волнуйте себя ожиданиями.

Он отвечал, что, конечно, не волноваться не может. Ему обещают переход в другой мир, не меньше; это - как бы вторичное рождение. Но ребенок, рождаясь на свет, не имеет за плечами опыта жизни, уже сложившегося мира представлений, а человеку тридцати лет это не так просто. И он прибавил:

- А впрочем, профессор, почему мы знаем, может быть, и у новорожденного был раньше свой особый мир, взрослым непонятный?

- То есть какой же такой мир?

- Ну, мир небытия. Я вот тоже как бы пытаюсь явиться из мира небытия. Для меня-то он дорог и важен, а для вас он просто не существует.

Профессор сказал:

- Э, вы все эти мысли, дорогой мой, оставьте. Мы обо всем этом поговорим этак через годик или раньше. А сейчас ни к чему распускать нервы. Вы - человек интеллигентный, можете себя сдерживать.

Потом прибавил, взяв руку:

- А ну, пощупаем пульс. Пульс хороший. Будьте же молодцом. Мы с вами готовим ученому миру сюрприз. И уж начав доведем до конца.

Слепой ответил, что от души желает профессору успеха.

- Еще бы вы да не желали!

- Да нет, я не уверен, что для меня это будет хорошо.

Профессор рассердился:

- Уши бы мои вас не слушали! Какой вы сейчас человек? А будете человеком.

Перевязки делались в темноте; только за спиной ставилась зависимая свечка. Удара, как при операции, пациент не чувствовал, но одной секунды, пока повязка менялась, было достаточно, чтобы к его сердцу подкатывал опять тот же словно бы шар, который потом дробился на малые и мельчайшие. Его это пугало - профессора радовало.

В один из следующих визитов профессор сказал:

- Вы запомните, по вам зрячий говорит, что в мире много прекрасного, ради чего стоит потерпеть, и что видеть большое счастье. Природа прекрасна, и краски чудесны, и там всякие здания, и особенно люди. Увидите, что такое красивая женщина, вам этого мало?

- Самой красивой женщиной мне кажется моя сестра.

Профессор промычал неопределенно. Сестра слепого была дурна собой,- но не говорить же об этом! Он отшутился:

- Теперь вы и сам будете красавцем. Первое время в очках, а потом их бросите.

Этот разговор вызвал в слепом ряд неотвязных и томительных мыслей. По мычанию профессора он понял, что его сестра не считается красивой. Сестра, которая его воспитала и всю жизнь о нем заботилась с неизменной добротой! Если она не красавица,- что же называется красотой? Сочетание каких-то непонятных красок и линий? Но ведь самое слово "сестра" - красота!

И было еще - уже совсем личное, смешное и стыдное, о чем он долго не решался спросить. Вот теперь у него будут глаза, настоящие, открытые и видящие. У этих глаз будет свой цвет, как у всех человеческих глаз. Какой же цвет?

Он преодолел стыд и спросил профессора, который весело засмеялся:

- Ага! Интересно? У вас глаза, мой дорогой, карие и даже темно-карие. Да неужели же вы этого до сих пор не знали? И это очень, по-моему, красивый цвет, дай Бог каждому. И женщи-нам нравится.

Теперь он лежал и думал о том, что значит - карие глаза? Из многих цветов этот был самым непонятным и неосязаемым. Голубое - зеленое - красное соединилось с различными представлениями в других областях, ему доступных. Самый звук этих слов о чем-то намекал: голубое любовь, зеленое - звучание крыльев мухи и шуршание травы, красное - кровь, боль, вообще резкое. Карий ничего не значит, хотя часто говорят и о карих глазах. Но до сих пор о цвете его глаз никто никогда ему не говорил,- да и был ли у них цвет?

Когда его навестила сестра, он ее спросил:

- Ты знала, что у меня карие глаза?

Она поспешно ответила:

- Боже мой, это так хорошо!

- Ты этого не знала раньше?

Но она опять сказала:

- Я очень люблю этот цвет.

- А у тебя? Какие у тебя глаза?

- У меня тоже карие, но не темные.

Он обрадовался и после разговора с сестрой чувствовал себя счастливым и спокойным, даже больше - переполненным предстоявшей радостью, которую только теперь стал ощущать ясно. Бодро встретил и профессора:

- Ну, я теперь готов и нисколько не волнуюсь. Я кое-что узнал и понял.

Но что - не сказал. Профессор пообещал завтра снять повязку. Его и это не взволновало: пусть волшебное произойдет! Он уже привыкает к этой мысли. Пусть чудо будет - это весело! Карими глазами, глазами сестры, он увидит все то, что видят другие. То, чего они не видят и что знает он,- останется при нем.

\* \* \*

В последний день он удивил профессора признанием:

- Если что-нибудь я хотел бы видеть, уж не знаю как, то это прежде всего часы. Часы

бьют за окном, на башне.

- Все увидите. Почему часы? Вы людей увидите.

- Людей я все-таки знаю; вещи, конечно, интереснее. Но часы - это мне представляется сказкой! Неужели это видно? Скажите, профессор, это высоко, когда их слышно оттуда, на башне?

Профессор и не понял, и не ответил. Взрослый слепой человек может быть наивнее зрячего младенца. И почему именно часы?

В день опыта в отведенной ему комнате был кроме профессора тот, которого он назвал тогда голубчиком, его ассистент. Входила и выходила сиделка, ее шаг был мягче и мельче. Затем позволили войти его сестре, он просил, чтобы она присутствовала при снятии повязки - его новом рождении. Разговаривая с нею, он считал шаги других вошедших: все были мужчины, и их было шестеро. Он знал, что это - врачи и студенты, которым профессор показывает свой опыт: только избранным.

Сестра стояла рядом с ним и держала его руку, когда профессор, вдруг изменив свой обычный шуточный и приветливый тон на строгий лекторский, заговорил:

- Ну-с, мы можем приступить. Занавеси откиньте, а ставень приотворите - вот так, доста-точно. Дневной рассеянный свет хоть и сильнее, но меньше действует, чем выходящий из одной точки, из лампы и свечи.

Потом продолжал, как будто читая:

- Я уже говорил, что ни мы, ни наш пациент не можем ждать... как бы сказать... необычно-венного происшествия. Когда мы возвращаем зрение утратившему его недавно или хотя бы в раннем детстве, то его глаза легко и довольно свободно возвращают себе уже знакомые впечат-ления, очертания и краски. У слепорожденного этот процесс должен происходить иначе, как он происходит, например, у родившегося ребенка: сетчатка глаза все отметит и отразит, но в сознание это передаться сразу не может; к этому глаза привыкают лишь постепенно. Так что какого-нибудь чуда внезапного открытия нового мира линий и красок мы ожидать, конечно, не можем. Именно поэтому мы должны действовать осторожно и с разумной постепенностью, переходя от темноты к полумраку и затем к свету.

Повернувшись к окну, профессор сказал:

- Пожалуй, еще немного затените; вот так.

И продолжал:

- Так что, господа, чуда в этом во всем нет, но зато есть большее: победа науки, победа нашей общей настойчивости и нашего, я бы сказал, трудолюбия. А теперь...

Профессор на минуту остановился, а его пациент сжал руку сестры. Ее рука дрожала, но он был спокоен и внимательно слушал профессора. От всякого волнения его отвлекла внезапная догадка, что, в сущности, профессору и всем остальным, кроме его сестры, совершенно безраз-лично, какой мир он утратит и какой приобретет, а важно для них только то, как частичка его организма, какая-то сетчатка, воспримет и передаст сознанию внешнее и случайное. Значит,- они его не видят, а он их, видит и понимает: они одинаковы, как чашки сервиза, но его любимой чашки среди них нет. Он еще крепче сжал руку сестры и подумал: "Надо бы как-нибудь прощел!"

- Теперь,- сказал профессор,- вот теперь мы... вот теперь я снимаю этот бинт, эту повязку... поверните голову слегка так... вот мы наконец можем ее совсем устранить... и вот...